

Всё, что случалось в жизни с Николаем Ивановичем Глазковым, не могло случиться ни с кем, кроме него. В нём как будто была роковая обречённость на недоразумения — печальные и весёлые. Одни недоразумения он, словно фольклорный герой русских сказок, не без удовольствия порождает и нагромождает у себя на пути сам, другие, помимо его воли, легко прилеплялись к нему с чьей-то (не всегда легкой!) руки.

Поскольку всё равно не обойтись без упоминания образа «Летающего мужика», сыгранного поэтом в фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв», сразу укажем на это ставшее расхожим сравнение Глазкова с его кинодвойником. Действительно, невозможно не увидеть сходства судьбы поэта с судьбой воплощённого им на экране средневекового мечтателя, дерзновенного русского мужика, решившегося на безумный по тогдашним временам полёт с колокольни на воздушном шаре. Но дорогого стоят и пережитые дивные минуты счастья перед гибелью, когда прозвучало с экрана на весь мир теперь уже всем знакомое непередаваемое глазковское выражение восторга: «Летю-ю-ю!..». От Глазкова в этом эпизоде остались не только уникальный, зримый образ и голос. Остались и точно угаданные Тарковским, ставшие ключом к фильму, притчевость, фольклорность, мифологичность судьбы и личности поэта. В этой глазковской притчевости более всего важен корневой контекст его биографии — с глубинными пластами отечественной истории, с ощущением себя органической частью философской системы народной культуры...

Н. Глазков, несметно расхвачанный и растащенный на цитаты, на анекдоты и легенды, прижизненно мифологизированный как чудаковатый гений «не для широкого потребления», нёс в себе до самой смерти печальную непонятость, необъяснимость, так до конца и оставшись по-настоящему неразгаданным. Искали истоки его странной иронической (чаще всего — горько-иронической) поэзии в смеховой культуре Древней Руси, в скоморошестве, в раёшнике, в творчестве обэриутов и даже в мрачно-натуралистическом юморе Саши Чёрного. Можно было бы кстати припомнить и незабвенного Козьму Пруткову с его упорным самовозвеличением, и так дойти вплоть до комедиографа Аристофана и старика Эзопа.

Универсальная образованность, начитанность Глазкова могли дать повод для самых неожиданных параллелей. Но это не приближало к сути дела. Глазкова оглядывали как москвича (в Москву он переехал в раннем возрасте с родителями), как горожанина,

как задержавшегося в состоянии детства арбатского вундеркинда, которого до самой старости так и продолжали называть «Коля Глазков». Он был выставлен для показа на столличный асфальт. Ему отвели постаментик в дальнем уголке литературного интерьеря, дабы не заслонял чужие амбиции и не бросал тень на светлые лики официальных гениев. Недаром И. Сельвинский с нескрываемым раздражением называл Глазкова «неисправимым самозванцем». Всё это вместе взятое закрывало (сознательно или невольно) от любопытствующих глаз глубинную основу его сути.

Исключительная неповторимость поэзии и личности Николая Глазкова — в национальной самобытности его характера. Невозможно понять природу его юмора, игровой стихии его стихов, «странностей» поведения и даже его раздражающе нетипичной внешности — без укоренённого в срединную нижегородскую русскую землю многовекового родового древа. Глазков — потомственный волжанин, родившийся в крупном селе Лыскове Макарьевского уезда, некогда известного на всю Россию своими ярмарками и макарьевским Желтоводским монастырём, сочетанием строгой святости и разудалой вольницы. Нижегородская земля, как никакая другая, в глуши непроходимых лесов и в просторной чистоте рек, в нетронутой и нерастраченной первозданности родного языка, в духовном огне святой православной веры и любви к Отечеству, словно бы веками настаивала и выдерживала опалющий и пьянящий настой непокорности и, как теперь сказали бы, пассионарности, необузданной готовности к подвигу, к самопожертвованию. Лицо отечественной истории было бы не столь поэтичным без напоённых этим густым настоем могучих волжских характеров. Среди них — протопоп Аввакум, патриарх Никон, Иван Кулибин, Козьма Минин, Николай Лобачевский, Павел Мельников-Печерский, Максим Горький, Фёдор Шаляпин, Валерий Чкалов, Борис Корнилов...

Ещё Петру I жаловались на «озорство» глазковских земляков лысковцев, создававших «конкуренцию» близлежащей уездной ярмарке, «они де вашему... указу учинились непослушны: с продажным питьём и с таможеню, и с торгом не сошли, и шалашей, и харчевень не сломали, и всякими промыслы торгуют, и в то ж де время учили бить в барабан и послали на лошади в село Лысково, и из села ж Лыскова, собрався многолюдством с бердыши, и с топорками, и с ослопьем, прибежали на берег и конные и пешие со всяким боевым ружьём — и с саблями, и с пицальми, и с луками, и с копыи неведомо для какого вымыслу, и бранили всякою бранью...» (П. И. Мельников (А. Печерский)). Насколько исторически узнаваем характерный, «неведомо для какого вымыслу», кураж в этом динамичном летописном эпизоде, в котором явно не на последнем плане где-то действуют и предки Глазкова! Неслучайно, вспоминая в стихах, как ещё до войны он снимался в массовке картины Эйзенштейна «Александр Невский» в сцене Ледового побоища на Чудском озере, поэт писал о своём сражении с «псами-рыцарями»:

Простой и высокий —
Не нужен мне грим, —
Я в русской массовке
Служил рядовым...

Помню, однажды при встрече Николай Иванович, сам обладавший недюжинной силой, рассказывал о деде, который был настолько могуч, что мог в узел завязать железную кочергу. В семье Глазковых хранили память также об одном из предков, священнослужителе с мятежным нравом.

Ещё одна черта характера, унаследованная от благодатной нижегородской земли, от традиции народной культуры, — художественная изобретательность (вот уж где истинный, не умозрительно-рациональный модерн!), абсолютная, совершеннейшая свобода фантазии, ненасытная воля к творчеству как к сотворению чуда. К такому пониманию своего дела отнюдь нешуточно относился Глазков:

...И тебя зачислят в книгу
Небывалых стихотворцев,
И меня причислят к лику
Николаев Чудотворцев.

Разве не таким «чудотворцем» был другой «волжанин», Иван Петрович Кулибин, гениальный русский механик-изобретатель, который ещё в XVIII веке, словно филигранно отточенные стихи, измысливал и воплощал в чудесные творения собственные идеи? Стоит к месту привести хотя бы одно небольшое описание, чтобы понять, каким художественным блеском и какой высотой этического уровня сияет изобретательская мысль простого самоучки-механика. Кулибин уверял своего мецената, нижегородского купца Михайло Андреевича Костромина, что сделает (и слово своё сдержал!) «часы видом и величиною между гусиным и утиным яйцом... В доходе каждого часа отворяются створные двери внутри онаго яйца и представляется чертог наподобие зала, в котором противу дверей поставлен по примеру палатки наподобие гроба Господня гроб, а в него затворенная малая дверь, а к дверям привален камень; по сторонам гроба стоят с копьями два война. По отворении реченых дверей через полминуты является ангел, и вдруг камень отваливается и дверь во гроб разрушается, а стоящие войны ниц падают: через пол же минуты приходят две жены-мироносицы и бывает слышен подпеваемый звоном голос стиха: Христос Воскресе из мертвых...».

В этом замысле, в реальности ещё более изощрённом и многосложном с технической точки зрения, есть что-то от захватывающего полёта «Летающего мужика». А в самой кулибинской малой форме сказочно фантастического произведения «величиною между гусиным и утиным яйцом» — словно бы незримое, из разных сфер, но парадоксально близкое родство с лаконичной, почти лубочной формой многих знаменитых стихов Глазкова, «краткостистиий», как сам он их называл. Таков природный национальный ум: глубокую мудрость сказки, песни, присловья, загадки уложить в ёмкую совершенную форму. Потому-то Глазков справедливо считал, что русские пословицы и поговорки «кратко излагают все философские системы». И если уж искать аналогии своеобразию поэта, то необходимо перебрасывать мостик именно к народному складу самовыражения.

В Глазкове несомненно жил подлинный философ. Не скоморох, не шут гороховый, не фигляр и хохмач жванецко-хазановского пошиба, а своего рода арбатско-лысковский народный Сократ, Экклезиаст. О чём не раз свидетельствовал и сам поэт. Горек корень его русского смеха. В прекрасном стихотворении «Всё происходит по ступеням» он недвусмысленно приоткрывает свои «истоки»:

Всё происходит по ступеням,
Как жизнь сама.
Я чувствую, что постепенно
Схожу с ума.

И, не включаясь в эпопеи,
Как лампа в ток,
Я всех умнее — и глупее
Среди дорог.

Все мысли тайные на крики
Я променял.
И все написанные книги —
Все про меня.

Должно быть, тишина немая
Слышней в сто крат.
Я ничего не понимаю,
Как и Сократ.

Пишу стихи про мир подлунный
Который раз?
Но всё равно мужик был умный
Экклезиаст...

Таким же «умным мужиком» в литературе был и Николай Иванович Глазков. Он вообще знал цену и в жизни, и в истории, и в интеллекте, и в любом деле — настоящий мужик, будь то Сократ или маршал Жуков. В стихотворении «Примитив» поэт при всей иронической мягкости весьма жёстко ставит на место надувающую щёки спесь, предъявляя в качестве аргумента личную историческую родословную:

...Я к сложным отношеньям не привык,
Одна особа, кончившая вуз,
Сказала мне, что я простой мужик.
Да, это так, и этим я горжусь.

Мужик велик. Как богатырь былин,
Он идолищ поганых погромил,
И покори́л Сибирь, и взял Берлин,
И написал роман «Война и мир»!..

Будущим историкам литературы, тем, кому предстоит заниматься XX веком, придётся немало поломать голову над поэтической судьбой Глазкова. Как могло случиться, например, что такой большой поэт (даже в соизмерении с золотым XIX веком русской поэзии) оказался грубо отодвинутым от участия в литературном процессе своего времени и буквально до последнего часа, словно вериги, нёс на себе какую-то злую печать незримой опалы, изломавшей ему не только жизнь, но и во многом исковеркавшей предназначанный свыше поэтический путь? Поэт, который ещё до Великой Отечественной войны создал десятки блестящих стихотворений и поэм, ставших классикой, был лишён возможности не только издать их отдельной книгой, но и просто донести до читателя хотя бы со страниц газет и журналов. (Сколько творческих нервных клеток сгорело, сколько часов и дней вдохновения отравлено из-за этой оскорбительно несправедливой обречённости на немоту, сколько не написанных стихотворений придавлено под этим гнётом в душе!..) Ни сном, ни духом не собиравшийся ни в смутьяны, ни в крамольники, ни в диссиденты, ни даже в злоязыкие шуты при царском дворе, Глазков почему-то с самого начала своим необычным видом, оригинальностью мышления, своею резко выделяющейся инакостью («Я в мире — как никто иной, И потому оригинален...») показался опасным мелочно подозрительной власти. Об этом он ещё в 20 лет написал пророческие строки:

...И художник сам тому не верил,
Расточая бисер дуракам,
Но в такие дни обычный веер
Поднимает ураган...

Выскажу действительно крамольное предположение о том, что в значительной мере в глазах непросвещённой власти, которую Блок не без основания называл «чернью», соз-

данию этого якобы опасного образа непредсказуемого и неуправляемого поэта и человека немало поспособствовали собратья-писатели. Слизывая сливки с блестящих глазковских стихотворений, они разносили их по своим междусобойным кухням. С многозначительной таинственностью и оглядкой, словно заговорщики, цитировали на небольших литературных вечерах, читали каким-то чиновникам из своих высоко и мелко поставленных знакомых, придавая этим стихам совершенно несвойственную им двусмысленность. Но поэзия Глазкова никогда не была «восстанием под знаменем насмешки» (Евг. Евтушенко), что ей так упорно приписывали. Как человек научного склада мышления (знал наизусть таблицу Менделеева, курс истории Ключевского, являлся действительным членом Географического общества СССР, увлекался минералами...) он был просто объективен и точен в оценках («Мир сиял, огромен и естествен, // В жалкой исторической возне...», «Плохо быть рабами // Всяких там хазар»). В школе получил двойку за сочинение по роману «Разгром» Фадеева. Как говорил сам Глазков, за то, что «доказал, что Левинсон был профан в военном деле, потому его и разгромили»...

Добродушно-наивный Глазков, тоскуя по признанию в отсутствие читателей, невольно сам становится игроком в игре против себя самого. Только от безысходного отчаяния он, словно новый Гуттенберг, приходит к изобретению, которому дал якобы весёлое название «самсебяздат», «самиздат». Это словцо в русской транскрипции без перевода, также как «луноход», «космонавт», знают по всему свету. Вручную перепечатанные и переплётённые в тоненькие книжечки стихи Глазков в течение многих лет дарил десяткам, сотням своих поклонников, в основном всё тем же собратьям-писателям. В сущности, это был первый, до-интернетовский полуконспиративный сайт Глазкова в идеологической паутине той эпохи. Пожалуй, Глазков не знал только одного, что приоритет его изобретения, хоть и остаётся в России, но всё же должен быть поделён на двоих с другим русским поэтом. В XIX веке Василий Андреевич Жуковский в подарок для друзей создавал аналог «самиздата» — небольшие книжечки стихотворений, которые назывались «Для немногих». Правда, чтение «немногими» стихов Жуковского не помешало Василию Андреевичу быть влиятельным лицом не только в литературе, но и при царском дворе. Книжечки же Глазкова, достойно умножая его литературную славу в узком кругу профессионалов, всё дальше отодвигали от него возможность выхода к широкой читательской аудитории. Его добровольные устные «интерпретаторы», которым со временем отчасти и подыгрывал поэт, почему-то предпочитали развлекать своих слушателей Глазковым. Получался какой-то потешный поэт, умеющий так закрутить инверсию, так вывернуть синтаксис, так вытянуть небывалый смысл из привычной ситуации, из самого обычного слова, что смех да и только!

Один мудрец, прожив сто лет,
Решил, что жизнь — нелепый икс,
Ко лбу приставил пистолет
И переехал Стикс.

Или:

И неприятности любви
В лесу забавны и милы:
Её кусали муравьи,
Меня кусали комары.

И ещё:

Я это мог бы доказать,
Но мне не дали досказать.

Последнее по скрытой горечи так похоже на настроение «умного мужика» Сократа, которого «демократическим» голосованием с перевесом в несколько голосов приговорили к смерти. Ведь рядом с этими игривыми «картинками» воем выли иные, исповедально над-рывные строки:

...А в ночь угрюмую,
Когда темно,
Иду и думаю,
Что мне дано?

Что дано? Причитанье причуд,
Неоткрытых открытий высоты,
Мысли, что мудрецы перечтут,
А глупцы превратят в анекдоты...

Какая великолепная глазковская словесная причуда «Иду и думаю», и какое гениальное тут же, следом, соединение несоединимого, как «Апология сумасшедшего» у Чаадаева, как плач гоголевского Поприщина — «причитанье причуд»... Действительно, можно сойти с ума от сознания, что твои «причитанья» и мысли превращаются «в анекдоты», в забавы. И не только глупцами... Известен его ответ Осипу Брику, когда Глазков, сорвавшись, показал всю мощь своих «потешных» стихов, которые как «потешные» войска Петра в нужный час преобразились в гвардейские Преображенский и Семёновский полки:

Мне говорят, что «ОКНА ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

Но и в том безнадежном положении Глазков оставался неколебим в стоянии за свою неисправимость. Когда однажды ему пришлось услышать о себе: «Ох, уж эти юродивые без креста», он, не задумываясь, спокойно и твёрдо ответил: «Нет. Я с крестом»... В стихах этот свой горький крестный путь Глазков определит беспощадно и глубоко выстрадано: «Пусть многогрешен русский человек, // Но русский человек могуч и свят...».

Самой большой нелепостью является выдумка о том, что он якобы, «подобно Велимиру Хлебникову», был «поэтом для поэтов». И эту легенду также сложили «собратья-писатели». Хотя определённое творческое единство с Хлебниковым Глазков не отрицал. Но, как всегда, в парадоксальной форме, заставляя слова, словно драгоценные камни, сверкать всеми мыслимыми и немыслимыми гранями:

Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.

В 18 лет (заметьте!!!) Николай Глазков пишет своего знаменитого «Ворона». И сразу раскрывается как абсолютно зрелый поэт. Здесь всё лучшее глазковское, что потом до конца будет фонтанировать в его творчестве: ирония мудреца, для которого «во многом знании большая печаль»; классическая прозрачность смысла при парадоксальной игре интеллекта; по-детски безбоязненное, в каком-то почти грубом наиве первооткрывательское отношение к слову и со словом; и целеустремлённое искание истины. Классическое «In vino veritas» (*лат.*) — «истина в вине» в поэтической системе Глазкова могло бы на законном основании звучать как «In versus veritas» — «истина в стихах».

Поэтом блестяще обыгран «Ворон» Эдгара По с его грозным отрицанием «Невермор» — «Никогда». Замечателен эпический замах начала стихотворения Глазкова:

Чёрный ворон, чёрный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, чёрный час.

И потрясающая концовка, в неожиданном глазковском ключе: «Я спросил: — Какие в Чили // Существуют города? — // Он ответил: — Никогда! — // И его разоблачили». Чем, кстати, с русской прямоотой разоблачён и утончённый мистический пафос американского «Ворона». Какая вообще разительная инакость двух миров, двух космосов — русского и западного. Там, где Э. По оценивает себя отвлечённо-художественно: «Моя жизнь — каприз — импульс — страсть — жажда одиночества — презрение к настоящему, разжигаемые страстностью ожидания будущего», там Николай Глазков, как раскаявшийся грешник, истово утверждает: «Я сам себе корежил жизнь, // Валяя дурака. // От моря лжи до поля ржи // Дорога далека...»

Большинство лучших стихотворений поэта написаны в молодом возрасте. Читая их сегодня, надо помнить, что все они, прежде чем оказаться в книге, были фактически устным народным творчеством, прошли путь легенд, сказаний. Да, это сказанья, былины XX века, которые лишь спустя целые эпохи попали на печатный станок... Только по дикому недоразумению могло случиться, что такие прекрасные стихи, как «Ворон», «Бюрократы», «Баллада», «Надо плакать иль смеяться», «Всё очень просто, хоть и сложно...», «Двигутся телеги и калеки...», «Примитив», «Ты, как в окно в грядущее глядишь...», «Гимн клоуну», «Боярыня Морозова», не появились в своё время в опубликованном виде. Это отчасти поменяло бы поэтический ландшафт тех лет, а иным литературным авторитетам пришлось бы померкнуть на ярком фоне поэзии Глазкова. Но существеннее то, что читатель был лишён возможности знакомства с богатейшим поэтическим миром одного из самых умных своих современников. Жаль, что неизвестны были замечательные патриотические военные стихи поэта, его пророческие предсказания («Но мне кажется, что обязательно кончит // Самоубийством Гитлер Адольф», октябрь 1941), его потрясающее стихотворение об открытии американцами «второго фронта» «Вечная слава героям», написанное в 1944 году и, кажется, не потерявшее своей провидческой актуальности до сегодняшних дней:

...Лучше в Америке климат
И дешивизнее быт;
Но мёртвые сраму не имут,
А вы отказались от битв.

Вы поступаете здраво,
Пряча фронты по тылам;
Но в мире есть вечная слава,
Она достаётся не вам.

Интересно, как стало меняться отношение к Глазкову его «поклонников», когда он почти в сорокалетнем возрасте всё-таки выпустил в 1957 году первую книгу стихов «Моя эстрада» в периферийном калининском издательстве. Увы, знаменитым стихам поэта предстояло ещё три десятилетия дожидаться выхода к читателю. Заговорили о том, что Глазков исписался, стал «графоманить», потрафляя властям, чтобы печататься. «Счастливые вы, — скажет поэт своим вчерашним поклонникам — собратьям по перу. — Вам, чтобы напечататься, надо писать как можно лучше, а мне — как можно хуже». Загнанный

В угол никем официально не объявленной опалы, он, подобно героям платоновских романов, попытался заговорить в стихах на языке ложного энтузиазма. Это не было идеологической пропагандой. Напротив, нацепив на себя куцее тряпье идейной лояльности, поэт самым фактом вынужденного маскарада лишь резче выявил ложность этой идеологии. Так, бросаясь в огонь, пытаются спасти, вынести из горящего дома детей. Другой бы зарезал кого-нибудь на большой дороге или спился до смерти от тоски. Те, кто списывал Глазкова со счетов, не понимали, что он моральнее их благополучной и безопасной принципиальности, ибо пытается, устав «диктовать в пустоту», вытащить свои лучшие стихи из пламени забвения. «Он и жизнь свою играл как чёрные шутейные стихи, — пишет А. Вознесенский о Глазкове. — Страшное время виновато, что дар его во многом растрочен попусту и ради хлеба». Во-первых, время не виновато. Страшным его делают страшные люди. Во-вторых, все свои великие стихи Глазков всё-таки написал, так что дар его не назовёшь «растроченным попусту». Дай Бог, чтобы от тех, кто благодаря своей высоко оплачиваемой нестигаемости и смелости не думал о куске хлеба, осталась хотя бы сотая часть того, что сделал полуголодный и униженный обстоятельствами жизни Глазков... Но это в его бедный арбатский дом, а не на шикарную дачу к любителям хорового пения «комиссаров в пыльных шлемах» могла ночь-полночь забрести Ксения Некрасова, чтобы попросить тонким голоском: «Коля, дай мне иголку и тряпочки, я буду куклу шить...».

Может быть самым страшным обвинением собратьям по перу звучит одно из писательских воспоминаний: «Однажды мы с Николаем поехали в Сочи. Я по путёвке, Николай — „дикарём“». Ему, коллекционеру, в душе страстному путешественнику, литературные хозяева жизни привозили из-за граничных вояжей открытки видов других городов и стран, в которых он так никогда и не побывал... Да, он жил не по фальшивой «американской мечте» о том, как стать Фордом или дружить с президентами, но по «русской идее», как Хлебников и Глазков, для которых важнее стать Мыслителем, Поэтом, «умным мужем Сократом», святым, даже оставшись нищим, гонимым, осмеянным...

Не было у него «чёрных шутейных стихов». Было:

...Я отщепенец и изгой,
И реагирую на это
Тоской
Поэта...

Да он называл себя гением! Писал: «Но не выпить нельзя // За мою гениальность!..» Что тут такого? Все вокруг втайне считали себя гениями, а он открыто, без фарисейства («Лучше всех пишу свои стихи»). Он был благородно щедр к другим: «Даже знак нуля занимает какое-то место». Он, по замечанию Н. Старшинова, «блестяще доказал, не занимаясь никакими формальными ухищрениями, что можно быть оригинальным и без них». Его афоризмами можно украсить любую антологию мировой мысли («Азбучные истины не должны начинаться с „Я“», «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака», «Скажи мне, кто твоя любовница, // И я скажу тебе, кто ты», «Пошло то, что пошло», «Правдою неправды умудрённый...», «Благородству сопутствует тактический проигрыш и стратегический выигрыш», «Поэты это не профессия, // А нация грядущих лет»...).

В 19 лет он напроорочил свою судьбу «Летающего мужика», написав про то, как злобно смотрели бюрократы «...на Первого русского летуна, когда тот прыгал с колокольни Ивана Великого...», и про то, как они «всю жизнь готовили мне смерть и не печатали мои стихи...». Он любил сниматься в кино, в массовках, его можно найти в фильмах «Ленин в 1918 году», «Александр Невский», «Суворов», «В. Чкалов». В «Романсе о влюблённых» А. Кончаловского у него маленькая роль, тоже «из народа». Он мог бы без грима играть Сократа. К концу жизни у него было лицо каторжника. Его утвердили на роль Ф. Достоевского. Поэт Владимир Бурич рассказывал мне, что те, кто видел отснятый материал, плакали

от потрясающей достоверности исполнения трагедийного образа. Плёнку с Глазковым потом спешно смыли, чтобы и следов не осталось от страшного совпадения образов двух мучеников русской литературы. Он говорил: «Я самый сильный среди интеллигентов и самый интеллигентный среди силачей». Но, измученный жизнью, умер очень рано, шестидесяти лет. Основным критерием в оценке поэта для него было — останется в истории или нет. О себе он имел право сказать:

...Но человек, как я, останется:
он молодец и не боится!